

ЛАРИСА КАЛУЖЕНИНА



ВАСИЛИЧИ

РАССКАЗ

Министр иностранных дел на открытии выставки не был, находился с визитом в соседней державе, кажется, в Литве, хотя с его подачи эта вся каша и заварилась: пригласить из Парижа бывшего соотечественника, известного французского живописца, а может, и не только французского, а вообще — европейского, мирового — никто из чиновников в посольстве не рискнул бы точно определить статус мосье Андрэ Ромашкофф теперь, когда его картины, даже мелкие, камерные, расходились по всему миру за большие деньги.

— Запомни, пока я здесь живу и дышу (стук палкой об пол), тебе никогда, запомни (ещё раз — громко, палкой) — никогда не увидать своей выставки ни в этом городе, ни в этой стране!

“Как всё просто было тогда, в семидесятых”, — думал Андрей, поднимаясь вместе с тучей чиновников минкульту, журналистов и прочей публикой по мраморной лестнице Национальной картинной галереи, где его ожидало открытие персональной выставки, интервью для первого канала телевидения и после всего, по слухам, грандиозный фуршет в ресторане национальной кухни с весёлым названием “У Лявона”.

“Да, просто было. Чёрно-белая гуашь, без полутонов. Любовь — ненависть. Выездной — невыездной. Загнивающий Запад и победный соцреализм. А дед, оказывается, жив, ему чуть не девяносто, но ещё в позапрошлом году стучал палкой на студентов Академии, учил их уму-разуму, а теперь, говорят, просто работает в мастерской. Пишет, а ему скоро десятый десяток!”

КАЛУЖЕНИНА Лариса Анатольевна родилась в Тбилиси. Окончила Минский государственный лингвистический университет. Публиковалась в журналах “Волга”, “Латинская Америка”, зарубежной периодике, в том числе в Японии, США, Германии. Живет в Минске.

В ногу Будник был ранен под Будапештом, так и ходил с палкой с юности, привык к ней настолько, что пользовался виртуозно, как третьей рукой. Многорукый Шива, бог Академии, профессор, лауреат и орденосец. Авторитет. Мальчики середины 70-х, послевоенные мальчики в замусоленных длинных патлах, с безусловным принятием всего, что удавалось пронюхать с запада, ему, в самую раннюю пору жизни на этом западе сражавшемуся, искалеченному в той жестокой битве, любое отступление от твёрдых живописных канонов казалось предательством. Обижаться на него? Но ведь это была сама искренность, только покрытая плёнкой застоя, как красивое, с белыми кувшинками камышовое болото.

Мысли Ромашкова перебило движение. Он шёл, машинально переступая по ступеням, покрытым приглушённо-вишнёвой, новенькой ещё ковровой дорожкой, уже больше ни о чём не думая, не вспоминая, пока его вели на место и устанавливали, как мебель, в центре зала под жалаящими вспышками фототехники. Он был спокоен, собран, как всегда, любезен, кивал, отвечал на вопросы, и вся канитель закончилась довольно быстро. Стали вновь перемещаться с группой сопровождающих к лестнице, как вдруг его кто-то тронул сзади за руку, дёрнул довольно выразительно за рукав пиджака, так что он не мог не обернуться. Лёшка Сидорчик, постаревший, в тёмной с проседью бороде, с глуповато извиняющимся выражением лица тянулся к нему навстречу. Ну, да! Я же не чиновник ЕС, не военный атташе. Художник. И потому сопровождение такое: пёстрое, без охраны. Вот и настиг старый приятель. Довольно просто. Прошёл сквозь толпу и дёрнул за рукав пиджака.

Теперь банкет? Хотелось хорошего французского полусухого. В последние годы он стал позволять себе бокал-другой на всяких торжествах. Интересно, есть ли у них хорошее французское вино, или хотя бы болгарское. В прошлом году, в Пловдиве...

— Слушай, ты мне нужен по делу, очень нужно поговорить, — Лёха, истребитель прекрасных воспоминаний, смотрел на него в упор. Но ведь стариннейший приятель, вместе с первого курса Академии, снимали комнатёнку у старухи на Гамарника, питались вместе... чем? Об этом лучше не вспоминать. Да и потом — одна мастерская на двоих под самой крышей многоквартирного дома, огромное окно, и каждый писал в своём углу, пока не обрушился на Ромашкова Париж. Переписки не было. Какая переписка с Парижем в те годы! А позже всё как-то само собой заглохло. Потерялись. Но он узнал его сразу, будто не седовласый дяденька стоял перед ним, а тот самый худющий блондин в единственном тёмно-синем свитере, растянутом чуть ли не до колен, с неумелой заплатой на левом локте, прихваченной случайной зелёной ниткой. Пожали друг другу руки, вместе стали спускаться по лестнице и оба молчали. Группа сопровождения тоже безмолвствовала. В вестибюле все как-то замешкались у вешалки. Лёшка, уже одетый (и когда только успел?), снова стоял перед ним. И что оставалось делать? Ромашков сказал:

— Слушаю.

* * *

До Василичей езды оказалось часа два, хотя Сидорчик уверял, что максимум час с небольшим.

— Ты только посмотришь, что да как, с отцом Геннадием побеседуешь, и мы сразу назад, как пули, моментально назад.

Но ехали на старом “форде”, километров восемьдесят в час тащились. Андрей от таких скоростей в Европе отвык, но решил благоразумно вытерпеть всё до конца. Через час спросил только:

— А что-нибудь поесть у тебя найдётся?

Ничего у него не было, конечно.

— О, придорожный сервис у нас развивается! — Лёшка то ли ёрничал от испуга или пиетета, а может, оттого, что отвык от приятеля, то ли и сам есть хотел — непонятно. Остановились на минуту в придорожной гостинице, зашли в буфет.

— Видишь, и у них евроремонт, — не унимался Сидорчик, — можешь зайти в туалет смело. Уверен: и бумага будет, и всё на свете, даже мыло.

Андрей окинул взглядом буфетную стойку. Безнадёжно. Бутылки “Спрайта”, что-то дурно обжаренное... Он прошёл в холл гостиницы, где сидела тётенька, как показалось вначале, — злая:

— Нельзя проезжающим, туалет только своим.

— В самом деле? — смутился Андрей. Но тут неожиданно смутилась тётенька.

— Конечно, идите, надо вам, идите, — и протянула ему ключ от туалетной комнаты. И почему-то спонтанность этой доброты так поразила Ромашкова, что после, выйдя к машине, он стал вытаскивать из кошелька местные деньги, стал спрашивать у Сидорчика совета, сколько дать на чай портье, но Сидорчик, в свою очередь, ещё больше удивился и заверил, что ничего давать не нужно: пустила, и ладно.

Они тронулись с места, и опять пошли по обеим сторонам дороги бесконечные лиственные леса, ласковые берёзовые рощицы вперемешку с корабельными соснами. Ноябрь стоял необыкновенно тёплый: ни снега, ни холодных дождей, и в лесах ещё кое-где виднелись старые листья, а хвоя и вовсе радовала глаз беспримерным своим вечнозелёным праздником.

Под конец пути, усталый от вчерашней суматохи, Ромашков незаметно для себя уснул и только тогда открыл глаза, когда густой, хриплый бас большой овчарки на привязи резанул уши.

— Приехали, — сказал Сидорчик, — вылезай, гостем будешь.

— Приехали! — какая-то девчужка на длинных, журавлиных ногах выскочила откуда-то с бокового входа, радостно подбегая к собаке: — Я подержу, вы его не бойтесь!

Ромашков действительно недолюбливал собак и замылся, стоя у открытой машины. А девчужка, схватив пса за ошейник, — такая длинненькая, хрупенькая — держала его, огромного, рвущегося с цепи, приговаривая:

— Тетя Вера его целую неделю лечила, он же под машину попал, дурень, она его бинтовала, и теперь, смотрите, поправился.

Тетя Вера уже спешила к ним навстречу, тоже без пальто, в переднике, с изящно повязанной на голове косынкой, по виду совсем простая женщина, но с каким-то природным изяществом и даже щегольством, что сразу почувствовал Ромашков.

Прошли боковым входом через маленький коридорчик и очутились в просторной тёмной истопной с котлом в центре, а в глубине — с лежанкой бабы Кати, бывшей уральской бомжихи, прибившейся сюда, в дом милосердия на краю белорусской деревни, у самой почти границы с Латвией, с год назад. Андрей машинально оглядел существо ростом метра в полтора: тёплые лыжные брюки, вылинявшие так, что цвет их определить было невозможно, старая девчачья курточка с закатанными рукавами. Баба Катя следила за котлом и сейчас только, засыпав туда порцию торфяных брикетов, как ребёнок, моргая глазами, застыв у синего шведского котла, молча смотрела на них.

— Пошли, пошли, — заторопила всех Вера, и они стали подниматься на второй этаж, в гостиную, куда уже прибежала та самая девчужка Вика, что удерживала во дворе собаку, и где Андрей увидел ещё двух девочек, лет десяти и пятнадцати, тоже молча стоявших под портретом шведской королевской семьи, висевшем на голой стене.

Длинный стол посреди комнаты, подюжины разномастных стульев, телевизор рядом со старым неработающим компьютером и справа, во всю стену — самодельный киот с иконой Спасителя по центру, покрытой вышитым белорусским рушником. Вера всё хлопотала, бегала на кухню на первый этаж, строгала капусту, морковь — делала салат. Девчонки приносили приборы, расставляли посуду на пустом, без скатерти, столе, а потом тихо, застенчиво застыли у стены.

Сидорчик, о чём-то вспомнив, встряхнул руками и побежал вниз к машине:

— Привёз немного, — передал он пакет девчонкам. Те взяли, но не стали ничего разворачивать, не только жадности, но даже и обычного любопыт-

ства не проявляя, пока Вера, на ходу зыркнув на пакеты, не бросила: — Ну, что же, угощайтесь. — Тогда они осторожно вынули по апельсину, стали очищать кожуру, остальное положили на край стола. Стояло в углу ещё два широких, разлапистых кресла. Оба гостя устроились на поцарапанных обивках, подлокотник на кресле у Андрея совсем отвалился, но всё равно сидеть было удобно, покойно и тепло, и если бы не Вера, которая всё летала по комнате, всё кружила в хозяйственном ознобе, мелькая перед глазами, то было бы и совсем прекрасно.

Внизу послышался шум машины, и Вика, засияв, кинулась со всех ног вниз по лестнице:

— Отец Геннадий!

И другие девчонки, словно встряхнувшись от сна, бросились следом:

— Отец Геннадий!

— Батюшка наш приехал, — Вера как-то подобралась вся и, тоже сияя, заспешила на первый этаж. Так и вошли они в гостиную всей толпой, а во главе её — лет пятидесяти, среднего роста, худощавый священник, тот самый отец Геннадий. Неторопливо и приветливо, радостно даже поздоровался он с Алексеем, а затем протянул руку Андрею, тоже радостно, но глаза его при этом исподволь изучали гостя, зорко и недвусмысленно. Уселась за стол, Вера подала рыбу, хорошо протушенную, вкусную. Были ещё какие-то шведские консервы, девчонки их ели неохотно, а Ромашкову их и вовсе не предложили.

После ужина, когда взрослые остались одни, отец Геннадий какое-то время сидел молча, словно не зная, с чего начать разговор, но тут сотовый его задребезжал настойчиво, вызывая на требы в соседнюю деревню, и он, быстро собравшись, отъехал, пообещав возвратиться часа через два. Сидорчик же, словно только того и ждавший, нервно соскочил с кресла и возрадовался:

— Ну, прекрасно всё получается! Отдохнёшь, девчонки тебе покажут хозяйство, осмотришься, а после сразу в Минск, назад, как пули!

— А то бы и заночевали у нас, — вступила в разговор Вера, — в комнате для гостей. И чтобы уже наверняка убедить странноватого гостя, добавила: — Там и шведские спонсоры ночуют, когда на своё Рождество к нам приезжают.

Оба они стояли и смотрели на него. Андрей кивнул, и Вера кликнула Вику. Та прибежала вместе с Леськой и сообщила, что Танька уже внизу, кормит кроликов и птицу.

— Вот и проводите туда гостя, — сказала Вера. Девчонки тотчас повиновались и кубарем скатились вниз по лестнице на первый этаж. Без визгу, правда, но весело, а Вера, плавно спускаясь вниз по крутым ступеням милосердного дома, на ходу распекала их:

— Как твой нос? — спрашивала Леську. — Всё сопли? Где платок? Носовой платок где?

Леська, на ходу вытащив платок, быстренько дунула в него и первой открыла дверь на улицу, куда и выскочила прямо на мороз в одной кофтёнке, и всё так же весело поскакала к небольшому сараю в углу голого, покрытого чахлой травой двора. Сидорчик с Андреем совсем было двинулись следом, как из боковой комнаты на первом этаже выкатила сухонькая, словно сморщенный фасоловый стручок, старушка и, засеменя к группе гостей, вежливо им поклонившись, чмокнула Андрея в руку. Сама поднесла к губам и чмокнула. Остолбеневший Ромашков застыл на пороге.

— Это бабушки наши, — заулыбалась Вера, — одинокие. Привыкли, как у нас говорят, за польским часом, ручки целовать панам, так и не отвыкли за советскую власть. Трое их у нас живёт, и ещё одна приходит на обед. Поест, уйдёт и спасибо не скажет. Ну, я на кухню.

— Да, верно, — соображал Андрей, — ведь это Западная Белоруссия, здесь же Польша была до войны.

В сарае вовсю хозяйствовала Танька, подстилая солому кроликам, вычищая клетки. Приглядевшись, Андрей понял, что эта щуплая, с маленьким, осунувшимся личиком девчонка совсем не подросток, что лет ей, может, 18, а может, и больше. Но во всём её облике было что-то такое ребя-

чье, незащитное, что делало её не просто моложе, а именно целомудреннее и незащитнее.

А Леська, опередив всех, уже стояла, прижимая к себе серого кроля, а вслед за ней и Вика, бестрепетно ухватив другого кролика за длинные уши, по временам наклоняя к нему аккуратную головку, зарываясь тонким точёным носиком в кроличий мех, удерживала его на руках. Обе мешали Таньке работать. Но та не жаловалась, не протестовала, а продолжала скрести клетки, только перешла к самой дальней из них.

— Мы ещё и козу заведём, — похвасталась Вика и, взглянув на неё пристальней, Андрей поразился: перед ним было чудо едва раскрывшегося бутона какого-то в будущем диковинного, прекрасного цветка. И эта удивительная фигурка на грациозных, длинных ножках, и чёрные, вразлёт, брови, которые век назад назвали бы соболиными, и вся она — лицо, волосы — вся обещала стать такой неповторимой красавицей, что у Ромашкова перехватило дыхание и мысли побежали какие-то совсем восторженные, одна нелепей другой. О каком-то портрете её и, возможно, о подиуме — за такую красоту заплатят миллионы, чтобы только видеть её на постерах ежедневно. Потому что это натурально, или даже нет, не просто натурально. Это природно, изысканно. Это настоящее! Не плебейские рысьи мордашки из привычного обихода последних лет, но что-то донельзя породистое и именно настоящее.

— Красивая девчонка, — Сидорчик улыбался, глядя на него. — Зося сделала несколько портретов с неё в смешанной технике. Хорошо получилось, тонко.

Они уже выходили из сарайчика и шли по двору к дому. Зося? Зоська Цитович, их общая на младших курсах любовь? Так они поженились всё-таки, и Зося — жена его...

— А где она? — спросил Ромашков машинально.

— Как где? В Минске. Преподаёт в училище, пишет. Здесь в гостевой комнате есть её работы, хочешь взглянуть?

Он, конечно, хотел и долго рассматривал несколько небольших рисунков над кроватью, аккуратно застеленной стареньким пледом. Мелкая какая-то речушка, местная, наверное, речка. Старые валуны. Сосны на закате с оранжево-красными стволами. И девочка, тихая, задумчивая, с белой лентой в тёмных волосах, а глаза — голубые... Не мелочное осмысление фактов бытия, людей, пейзажа, и даже не особая какая-то одухотворённость, творческая самобытность, ему, как профессионалу, очевидные с полувзгляда, нет, не это завораживало в небольших картинках над кроватью. А что? Он бы не смог сказать, в словах выразить то, что ощутил так сразу, ясно, и только удивился, вздохнув:

— Надо же, как Зоська теперь пишет...

И было понятно, что женская это рука, по плавности линий понятно, по прозрачности и самому настрою. “Но ведь здорово, не хуже знаменитых японцев, честное слово, не хуже, во всяком случае, так же своеобразно”, — решил Ромашков.

— Выставляется она где-нибудь? — спросил он у Сидорчика.

И про самого Алексея хотел расспросить, но как-то замялся, убоавшись, и они быстро вернулись в гостиную, где девчонки, сидя на коврик перед телевизором, смотрели видеофильм о снисхождении Благодатного огня от Гроба Господня на Пасху. Размеренный, хорошо поставленный, несколько усталый голос актёра Баталова с едва заметным московским говорком комментировал происходящее. Вначале яркие всполохи по всему куполу огромного собора, спуск Патриарха ко Гробу, молитва его, и вот он — Благодатный огонь в тысячах свечей сразу, по всему храму из рук в руки переливающийся. Безудержные вопли каких-то африканских паломников, прыжки их, радостная сдержанность монахов, разноязыкие паломники-миряне, огромное людское пространство и весь собор — одна сплошная радость и ликование, у каждого своя и всеобщая.

Время шло к десяти. Леська уже клевала носом, девчонки ушли к себе в комнату. Отец Геннадий, только что вернувшийся с треб, сидел за столом

вдвоём с Верой. Большая коробка конфет от прихожан лежала перед ними на столе.

— Ну, забросали ваших подопечных сегодня конфетами, — обратился к нему добро Ромашков. Священник устало кивнул, опустив веки. Вера хлопотала у чайника, Сидорчик — тут как тут — стал рассказывать гостю, что по весне думают они разбить свой сад, посадить яблони, кусты смородины, будут свои витамины, а Зося привезёт из Ботанического сада какую-то удивительную сирень. Отец Геннадий кивал всё так же устало, а после заговорил о солярке. Три тонны солярки для котла — вот что главное для зимы. Торфобрикеты дорогие, а соляра — она не подведёт. Ромашков вынул чек-овую книжку, но батюшка замахал руками: не так всё просто, оказывается: взял да и выписал чек. Кучу бумажек надо оформить. Ромашков растерялся:

— А если я из Парижа перешлю, по приезде?

Ещё хуже, оказывается. Кто переслал? Зачем? Почему? Сложно. Лучше уж тут, на месте, но с бумажками. Сидорчик страдальчески морщился над своей чашкой.

— Но у меня завтра рейс, в три часа, самое позднее — к десяти утра я должен вернуться! — взорвался Ромашков. Мужчины дружно закивали. Никто не возражал: надо — значит надо. И тут Вера, не выдержав, заговорила о доверенности. Как бывший бухгалтер, а теперь молодая пенсионерка, она знала, о чём говорит. Выписать доверенность — и точка. А оформить бумаги можно и после. Мужчины опять дружно закивали, и все стали пить чай. Через час милосердный дом погрузился в глубокую тишину.

* * *

Зося всё выбирала: Андрей или Алёшка? Ромашков или Сидорчик? Нравилась она обоим, и ей оба нравились, но как-то вяло нравились, всё-таки больше думала она тогда об учёбе, о будущих великих своих творениях. Но после Академии время помчалось ещё быстрее, чем в студенчестве, его стало мало для всего задуманного. И оказалось, что задумать — одно, а жить, не творить даже, а просто жить изо дня в день — совсем другое. Через полгода после отъезда Андрея за границу они поженились с Сидорчиком, она перенесла свои причиндалы, как называла холсты, краски, кисти и прочее, к нему в мастерскую, и теперь они работали здесь вдвоём, каждый в своём углу, она — в том, где раньше работал Ромашков. Через год умер их сын-первенец, глупо, беспощадно, от полного, как тогда казалось, недоумения. Стало тихо в мастерской. Тимощенко, собиратель древностей, как они между собой в компании его называли, больше не приводил на вечерние посиделки начинающих поэтесс, молодых театральных звёздочек местного измерения. Не являлся больше и косматый Рудик с вечным насморком и бессмертными пейзажами, и многие ещё богемные друзья и подружки — всех выдул холодный декабрьский ветер вечно открытой форточки. Она годами приходила в себя после потери. Не было тогда ни психотерапевтов, ни церквей, во всяком случае, никто о них не ведал. И Зося годами перемалывала своё горе и долго жила по инерции — все существуют, и я тоже существую. Не писала года два. Потом пошёл какой-то давящий кошмар. Время тянулось бесконечно. А по телевизору одни за другими шли похороны генеральных секретарей. Собственная молодость, безмерные, казалось, силы давили ненужным грузом. Алексей молча страдал рядом, молча, словно не вмешиваясь ни во что. Было плохо обоим, но он работал. Он теперь работал как бы за двоих — за неё и за себя. Только через десять лет родилась Маша, худенькая, слабенькая, любимая дочка Маша. А Союз разваливался. Маша росла, а всё вокруг шаталось и растекалось мутными потоками дождя по стеклу. Потом стало как-то стабильнее, но Зося уже ничего не замечала: у неё была работа в училище и работа в мастерской, и у неё было дитя, дочка, растущая не по дням, а по часам и требующая своего. Время опять побежало стремительно, но не только для неё. Тот временной галоп начала девяностых со многими сыграл злую шутку. Людей разбросало, разнесло по

разным континентам и странам. Рудик в Израиле пейзажи свои оставил. Старик-отец его, через короткое время после приезда ввавший в глубокий маразм, нуждался в лечении, нужны были деньги и на учёбу старшего сына. И он ушёл на завод минеральных вод простым работягой на конвейере. Но с годами выдвинулся, а позже и вовсе выкупил завод у хозяина, отбывшего куда-то в Европу, процвёл и разбогател. И однажды появился в родном городе, раздобревший, без кучерей, но азартный, и, собрав бывших друзей, устроил грандиозный пикник с фейерверком, где под всполохи фантастических огненных цветов на ночном небе обнимался со всеми, даже с неизвестно откуда вдруг появившимися незнакомыми прихлебателями, пил шампанское и, в конце концов, совсем раскис, разрыдался, и его увезли в дорогой отель отдыхать. Зато Тимошенко, уже не только де-факто, но и де-юре главный частный антиквар столицы, заполучив вместе с прибывшим капиталом и хроническое заикание, от старых богемных привычек отрёкся начисто. Теперь он водил дружбу с охотниками и при всяком удобном случае старательно ускользал из города, чтобы пострелять уток где-нибудь в тмутаракани. Подружки его, поэтессы и писательницы, тоже рассеялись в пространстве. Об одной было известно, что сперва открыла она косметический салон в Техасе, а после переехала куда-то в Калифорнию. Другая, помявшись в безработных актрисах, вышла замуж за итальянца, но быстро возвратилась на родину и сейчас руководит детским театральным кружком.

* * *

Алексей оставил Ромашкова одного. Две гостевые кровати стояли в комнате второго этажа, но после всех событий вечера и он хотел побыть один, и на лице Андрея ясно прочитывалась усталость от всего, не столько от событий даже, сколько от окружающих, — привычная усталость современных людей друг от друга. И теперь, скорчившись на коротком для его роста диванчике в гостиной и пытаясь уснуть, Алексей по временам открывал глаза, жмурясь, пытался разглядеть дальний лик Спасителя на противоположной стене и едва различимую в темноте икону преподобной Евфросинии, хранительницы здешнего очага. В освященной в её честь церкви служил отец Геннадий — в небольшом местечке километрах в двадцати от милосердного дома.

— И когда он всё успевает? — сонно соображал Сидорчик. — Мотается по всей округе на стареньком джипе, подарке шведов. А от церкви, где служит, до другого местечка, где он живёт, ещё километров тридцать. Привычные для него, столичного жителя, километры здесь, на сельской Белой Руси, и он теперь хорошо знал это, превращались совсем в другие расстояния.

Исхоженные пешком в ожидании нечастых автобусов дороги становились бесконечными путями из деревни в деревню, полями, лесами, бесчисленными песчаными просёлками.

В свой первый приезд сюда в начале января прошлого года, когда он шёл от дома милосердия к магазинчику на другом конце озера, колкая неподвижность зимнего воздуха, и какая-то отстранённая голубизна холодного неба, и то, что за весь путь до магазинчика не встретил он ни единой души, словно раздвинули для него границы окружающего пространства. Он шёл мимо старого кладбища и дальше, по берегу большого мелкого озера, покрытого прозрачным слоем льда, охваченный странным чувством одиночества и полной своей заброшенности. И потому, как родной, обрадовался незнакомой продавщице в магазинчике, шутил с ней, накупил сразу несколько килограммов лежалых бананов — из фруктов ничего здесь больше не было, — и ещё больше возрадовался, возвратившись под кров милосердного дома, в его тепло и свет, хотя топили так сильно только для него, гостя. В обычные дни, как он узнал позже, топили экономили и жили, по выражению Веры, прохладно. И Зося, хотя приехала сюда уже в начале весны, в самый разлив бегущей от озера мелкой речки, побродив по окрестностям, повосхищавшись старинной архитектурой заколоченной церквушки у кладбища, первозданной чистотой сельского воздуха, вдруг села в уголке гостиной молча и так же

промолчала весь обратный путь, глядя сквозь ветровое стекло куда-то, скорее всего, в никуда.

Пришёл знакомый художник к Сидорчику, о чём-то поговорили, и тот вдруг предложил:

— Не хочешь отдать картинку на продажу, любую — надо помочь милосердному дому.

Так впервые услышал он об отце Геннадии, в прошлом выпускнике их Академии, только курса на два помладше. Сидорчик его и не помнил совсем. Картину он, конечно, отдал, а через некоторое время — ещё одну. А после поездки в Василичи звонил знакомым ребятам, кланчил у них работы, и все давали, у кого просил.

Какая-нибудь персональная выставка в пятьдесят, к юбилею. И это всё? Но галерей мало, даже конкурса в Академию теперь нет — случайные люди поступают. И его ровесники, как-то незаметно ставшие солидными дядьками, толкуют о самобытности, о корнях, но пропуск на биеннале в Венеции — как пропуск в рай. А там в прошлом году вовсе даже и не художник победил, а бывший какой-то музыкант, и музыка его — набор скрипов заезженных пластинок. Да, господин Малевич, такой от вас подарок мировому искусству. Чёрный квадрат как итог, а живопись, сказал, кончилась. Ну, и кончилась... Молодых жаль. Играют с вещами, как правило, шокирующими. Изобретательность, изощрённость ума. Бедному обывателю и не вообразить такое. Но ведь для него стараются. А разве это цель? Не дерзость даже, а просто глупость. И невдомёк им, что западные авангардисты годами рисуют гипсы, прежде чем впасть в ересь отрицания.

Сидорчик перевернулся на правый бок.

— Святая простота! А ведь она есть, её не может не быть, святой и недоступной, как небо.

В четыре утра наверху, на втором этаже, измученный, невыспавшийся Ромашков, позабывший в гостинице лекарства от бессонницы и от желудка — от всего! — поняв, что ни секунды больше не может пробыть в тесной комнатке с иконой какого-то святого прямо над входной дверью, встал, резко отбросив старенький плед, и, ёжась от нервного озноба и холода, принялся натягивать на себя одежду и свои модные ботинки, а после, крадучись, хватаясь руками за стенки, неверным шагом начал спускаться вниз, в холл, где замер, не представляя, как выбраться наружу. Два выхода было в доме, во двор и на улицу, но как найти их, он не знал.

* * *

О неимоверной работоспособности студента Ромашкова в Академии ходило много слухов. По приезде во Францию первые пять-шесть лет он работал так, что времени оставалось только на еду, краткий сон да изредка — на созерцание метровой зелёной лужайки у глухой стены дома напротив. Мастерская его — убогая клетушка убогого блочного дома на окраине — единственным окном выходила на эту замусоренную лужайку, которая и спасла его, связав с реальностью. Всё остальное было не просто фантастично, но похоже на нехороший, тяжёлый сон, долгий и тягуче-однообразный. Никому неведомый и ненужный художник откуда-то с востока. И добро бы с востока настоящего, пряно-тайваньского, с каких-нибудь океанских островов. А то ведь славянин, да ещё из коммунистической империи. В семье Ромашковых хранилось предание о каком-то далёком предке-французе, якобы замерзавшем при отступлении разбитой наполеоновской армии, больном и умиравшем, но доброй белорусской семьёй спасённом от смерти. Фотографий тогда не водилось, и был ли этот француз лицом реальным, а не фольклорным, не известно. Внешность у Ромашкова была вовсе не французская, скорее — в отца-волжанина, после другой, уже Великой Отечественной войны освещёго в Белоруссии, которую он освобождал. Только вот странность: несмотря на замкнутость первых лет во Франции, язык Андрей освоил сразу, с лёту, и говорил на нём почти без акцента, точнее, с акцентом парижским. “Ма-

дам Настя”, как называл он впоследствии свою несостоявшуюся благодетельницу, наоборот. Хотя и жила во Франции всю жизнь, с ранней юности, за долгие десятилетия своего белорусско-крестьянского акцента не преодолела, да, наверное, и не хотела преодолеть. Мадам-вихрь, она неслась по жизни на бешеной скорости, жена известного супрематиста и сама своеобразный, интересный, как многие полагали, художник. Миновать Андрея она не могла. Из-за железного занавеса тогда не так много просачивалось людей. Тем более он был свой, компатриот, белорус. И Андрей получил приглашение в Кальян, куда и отправился в наёмном “ситроене” один, без жены. Старуха только что вернулась из СССР и накрыла его с головой. Здесь были Плисецкая и Бржнев, собрание навоза по дорогам в детстве и белая шубка в пионе, в современной деревне на родине вызвавшая настоящий шок. Музей мужа в Бьоте, который она достраивала и собиралась подарить Франции, и ещё один музей его памяти — в Нормандии. И репродукции всех великих художников всех времен и народов, которые собиралась после напечатания их в Швейцарии кому-то в Союзе дарить. Они ужинали в тесном кругу, как она сказала, и эта добрая дюжина домочадцев и гостей, сидевшая за столом, дружно попивая вино, хохоча, споря и перебивая друг друга, оглушила его.

— К Пикассо тебе пока рано, старик совсем стал жёлчен, ужалит насмерть — и не заметишь. А к Шагалу зайдём непременно, познакомя.

Она знала сотни, а может, тысячи людей, и почти всех помнила по именам. Крепенькая, термоядерная “мадам Настя”, великая труженица, правдивая коммунистка и заядлая спорщица.

Когда большой, со вкусом обставленный дом её, наконец, затих, Ромашков крадучись спустился со второго этажа, куда его поместили после затянувшегося чуть не до рассвета ужина, и, в темноте довольно скоро отыскав наружную дверь, вышел на стоянку к своей машине. От красного вина, выпитого вдоволь за ужином в нарушение всех житейских правил, которым он следовал всегда, даже в пьяненьком студенчестве, и позже, даже в богомном окружении, неукоснительно и строго, как солдат, не осталось и следа. Голова была ясной, только ноги предательски подрагивали. Но он, не раздумывая, забросил на заднее сиденье дорожную сумку и, включив зажигание, как вор, вполне серьёзно умоляя чужой, наёмный “ситроен” не тарыхтеть сверх меры, вырулил вначале на узкое шоссе, а после на магистраль, по которой покатыл сперва осторожно, но вскоре понёсся во весь дух на север, к Бордо, откуда часов около одиннадцати, наскоро перекусив, устремился к Парижу, к своей клетушке, к метровой лужайке, тишине и работе. От краткого рывка на юг в памяти ещё несколько лет жили отрывочные воспоминания о знойном духе кипарисов и созревающих лимонов, о лёгком, всё пронизывающем свете да настойчивом треске цикад. Скуластое лицо пожилой женщины с аккуратным пробором гладко уложенных волос ему, широко известному впоследствии мастеру психологического портрета, и в голову не пришло бы изображать. В политике он разбирался слабо, но фальши не любил. А фальши было много и здесь, но ещё больше — в покинутом Союзе. “70 драгоценных камней к 70-летию дорогого Леонида Ильича”. Как можно было принимать такое или даже восхищаться? И то, что он никогда не увидит галереи Флоренции, Лувр, росписи Сикстинской капеллы живьём, а не на слайдах или в репродукциях. Но главное — вечный окрик: то нельзя, это нельзя, вечная палка старика Будника, страх, который уже в тебе, ты сломан, как бедняга Васька Мезевич со своими многострадальными танцорками у фонтана в Центральном парке. Группа девчонок в хороводе, лёгкие платочки, веночки на голове, пляшут вокруг воды. Он вылепил их такими лёгкими, почти невесомыми.

— Вы что это! — сказали ему. — Надо уплотнить. — Он уплотнил. — Но это же толстые тётки, — сказали ему, — тогда почему в веночках?

И он сдался, он сделал всё, как они просили, что-то совсем уж непотребное, потому что дело запахло судом, растратой “народных денег”. В городе смеялись, но у Ромашкова история эта всегда вызывала не смех, а священный ужас. И ещё он знал, что может больше, что карьера успешного книжного графика, купание в заказах и деньгах, — словом, всё, что,

не раздумывая, оставил он на бывшей родине — не его потолок. И потому, не рассуждая, он устремился к цели, как молодой, упрямый ослик, только по временам прядая ушами и вздрагивая всем телом, когда был или безденежье, жалобы жены или такие вот стихийные броски на юг отрывали его от работы. Он был аскет? Может быть, — Ромашков не копался в этом. Но те, кто вывел его, наконец, на широкую дорогу признания, и впрямь были аскетичны. Мужчины и женщины в нелепых, как у Чаплина, шляпах-котелках, широченных юбках-штанах, с длинными, лоснящимися прядями иссиня-чёрных волос. Каждая черта их бронзовых лиц хранила невозмутимую аскезу, древний, абсолютно незабываемый код индейской расы, так и не разгаданной до конца человечеством, непонятной и им самим, жалким потомкам некогда великих народов, бредущих теперь босиком по горным тропкам от селения к селению с грудой пустых горшков на продажу, наваленных высокой, в два человеческих роста горой, на согнутые спины.

Первый его серьёзный покупатель на западе был аргентинец, женатый на француженке и осевший навсегда в Париже. Его рассказы заинтересовали Ромашкова. С деньгами только на обратный билет он прибыл в Байрес, как местные жители для краткости именовали свою столицу, и сразу утонул в потоке уличной жизни, делая бесконечные наброски, впитывал, наблюдал, работал. Но уже через неделю, пресытившись сильно европеизированной здешней жизнью, сбыв несколько привезённых с собой картин, попал в боливийские Анды, где задержался уже подольше. А позже и вовсе добрался до гватемальских Антигуа, Санто Томаса и Чичикастенанго. Купание в глубоком прохладном озере у подножия вулкана обернулось бронхитом. Он отравился местными тортильяс с непонятной начинкой, которые покупал у торговки на рынке в Солола. Его сутки выворачивало наизнанку, а спас вечно сонный, простодушный местный Гипшократ отваром из каких-то корешков и сухих трав, развешанных пучками под потолком хижины, куда приходил лечиться весь посёлок. Странно, но после успеха латиноамериканской серии, на корню закупленной в Штатах, он ни разу не подумал вернуться на континент, ни разу не оглянулся назад, в прошлое. Даже с новой своей женой, бразильячкой, познакомился в Брюсселе. После развода и новой женитьбы были куплены апартаменты с видом на Сену, но, кажется, это так и оставалось самым крупным его приобретением. По-прежнему равнодушный ко всему, кроме работы, свой успех у немцев он воспринял уже как должное. Немецкие живописные ценители, в вечных комплексах, в вечном соревновании с лягушатниками, как бы чего нового у тех не пропустить, платили хорошо, но его занимали мало. Он уже трудился свободно, легко, он уже был Romashkoff — имя на арт-рынке, уважаемая личность для арт-дилеров.

Примерно в это же время развалился Советский Союз, и его родина стала независимой республикой. Однажды он получил приглашение на приём в их парижское посольство, но был за границей и приглашение осталось без ответа. Через год, ко Дню независимости, приглашение повторилось, и Андрей ему внял. Было мило. Он познакомился с атташе по культуре и послом — приятной, средних лет женщиной, внучкой легендарного партизана. Ещё позже последовало официальное предложение о персональной выставке. Он внял и ему с двумя мелкими оговорками: безупречное освещение и убытие через 48 часов после приезда. Было обещано и это. Так Андрей очутился на бывшей родине. Впервые за тридцать один год.

* * *

В шесть утра после недолгого, нервного сна Сидорчик встал, спустился вниз и мимо пустой лежанки бабы Кати вышел на заднее крыльцо. Было темно особенной, предрассветной темнотой ноябрьской глухой ночи. Но постепенно облака рассеялись, и лукавый месяц осветил двор неверным светом. Баба Катя была уже на ногах и кормила собаку. Пес жадно ел, а маленькая, всё в тех же лыжных брюках фигурка, попыхивая папиросой, стояла рядом. От Веры Сидорчику было известно, что баба Катя по старой бомжовой при-

вычке проводит на улице целый день, даже в дождь, а её застарелый цистит Вера лечила долго, но всё-таки вылечила травами. Сейчас баба Катя, молча кивнув Сидорчику, продолжала стоять, глядя на собаку и улыбаясь чему-то своему. Алексей вдруг вспомнил, как она молилась. В один из приездов вечером ненароком увидел их всех, обитателей милосердного дома, молящихся перед сном. Одна из старушек при поклонах всё хваталась за поясицу, громко охая, девчонки фыркали от смеха, а Вера, прерывая чтение, строго одёргивала их. Баба Катя стояла, как все, уже не в брюках, а в непонятной какой-то чужой юбке и тоже крестилась вместе со всеми, и кланялась, и её сосредоточенность и отстранённое спокойствие сильно поразили тогда Сидорчика.

Отворилась дверь. Заспанная Танька вышла во двор и, поздоровавшись с ними, прошла к сараю кормить живность. Сидорчик вернулся в дом и, вспомнив, что Вера вчера жаловалась отцу Геннадию на неисправность в котле, присел на корточки возле непонятого агрегата.

— Батюшка уже починил вчера, ещё когда в первый раз приезжал, — Вера наклонилась к нему приветливо. — Идёмте завтракать, я напекла блинов.

Алексею совсем не хотелось есть, он никогда не ел в такую рань, но поплелся за Верой на кухню, где за накрытым столом, обе ещё сонные, уныло макая носы в чашки с молоком, сидели две младшие девчонки. Тут только Алексей вспомнил о Ромашкове. Словно угадав его мысль, Вера доложила:

— Спит внизу, в кресле, я его пледом накрыла, даже не пошевелился.

Алексей взглянул на часы — было семь утра.

В восемь они, наконец, решительно подошли к спящему Ромашкову, и Сидорчик тронул его за плечо. Ромашков спал, закинув голову и как-то неудобно, набок повернув её и во всю длину вытянув обутые в ботинки ноги, торчавшие из-под пледа вместе с задранными краями брюк. Открыв глаза, в первую секунду он с удивлением увидел перед собой вежливо улыбающееся лицо Веры. Но тотчас пришёл в себя и, справившись у Сидорчика, который час, завтракать не пожелал, умываться не пожелал, даже зубы чистить не пожелал и, захватив сверху дорожную сумку, выскочил во двор, к машине, держа в руках тёплую свою куртку. Сидорчик, стараясь не отставать, юркнул на водительское сиденье, и на всей возможной скорости машина устремилась вперёд, к столице.

* * *

Из-за тумана самолёт взлетел на час позже. Место Андрея оказалось рядом с дамой в сари, секретарём индийского посольства, летевшей в Париж на каникулы. Они перебросились несколькими фразами, и дама, зябко кутаясь в шубку, углубилась в свой ноутбук. Понимая, что не заснёт, хотя поспать в самолётах он любил, Ромашков достал небольшой томик Доминика де Вильпена *“Le cri de la gargulle”*, который накануне поездки бросил в сумку так, на всякий случай. “Крик горгульи”, однако, оказался криком души самого автора, бывшего министра иностранных дел Пятой республики. Чтение поучительное, но тоскливое. “Мир потребления, мир безделья и мимолётностей, в котором здравый смысл и идеалы сгорают на костре тщеславия... С одной стороны, безграничное расширение кругозора, информация в реальном времени, с другой — крушение морали, обесценивание этики, размывание понятия “смысл жизни”. Наши алтари опустели, мы в плену у абсурда, как бывало всегда при великом переломе, крушении империй или когда всходила заря перед наступлением Ренессанса...”

— Ренессанс, — повторил про себя Ромашков и ухмыльнулся. — Все они жаждут Ренессанса, мадам и мосье с безупречным сорбоннским прошлым, безукоризненными манерами и вкусом. Но стоило ли так упорно восходить по служебной лестнице, чтобы в конце карьеры, оглянувшись, разбиться о пустоту?

Краем сознания он отметил про себя, что сейчас мысли его отстранены от Франции, от страны, где прожил он последние три десятка лет, и удивил-

ся сам себе. Да, антураж его жизни, вся поверхность бытия были французскими, а сердцевина — какой? Оставалась будто замороженной, ничейной. Но так не бывает. Тогда чьей? И вдруг вспомнил бойкую дамочку на банкете — журналистка? критик? — так и не узнал. Но как она устремилась к нему, потрясая кулачками, что-то доказывая в запале. Бедные! Они всё ещё спорят всерьёз о современной живописи. Конечно, и в постмодернистской навозной куче можно отыскать настоящую жемчужину, и не одну. Но делать из этого серьёзный предмет для спора как-то уж слишком провинциально. Всё давным-давно катится по известной колее. Куда? Ну, уж об этом точно не стоило размышлять.

Но вот девочка. Красивая девочка, а отец алкоголик. А у другой, совсем малышки, тоже и, кажется, уже умер, а мать пьёт. А та, третья, и вовсе, как сгусток горя: муж утонул, родителей давно нет в живых, а пьяница-свёкр бил её, беременную, и она родила мёртвого ребёнка. И старушки! Ромашков улыбнулся. Целуют ручки! Но на этой земле я родился, прожил детство и юность, и что-то главное во мне, что-то не зависящее от моих желаний, вкусов, от самой жизни, — оно отсюда, и другим никогда не будет. Да, не будет! — вдруг с ужасом и восхищением понял он. И стало ясно... Он догадался, наконец, про эти тридцать стогов сена. Каждый год рисовал стог, обычный деревенский стог, а сверху — воткнутая палка, как это принято в белорусских деревнях. Рисовал не на продажу, сам не зная, для чего, и складывал картины в углу мастерской. Тридцать стогов. Настоящих. Никому, кроме него, не нужных.

Объявили о посадке. Ромашков пристегнул ремни.

Но кажется, в одном мосье Вильпен всё-таки прав. Париж сильно изменился за последние годы, и не в лучшую сторону. Придётся, наверное, подыскивать что-нибудь в провинции, коттедж где-нибудь у моря. Ну, хоть в районе Гранвиля, где они с женой отдыхают подряд второе лето. Хотя ей больше нравится Биарриц. Собственность в Биаррице? Ну, нет, эти бразильские штучки не для него!

* * *

Прошло несколько месяцев, и в конце февраля Ромашков получил открытку. Старательным детским почерком там было написано:

— Уважаемый Андрей Викторович! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Благодарим за денежный перевод. Желаем крепкого здоровья и успехов в труде. По поручению отца Геннадия, с уважением к Вам, Елена Кантарович.

На открытке краснопёрый снегирь, сидя на зимней еловой ветке, раздвинулся от мороза, но вид имел задорный и счастливый.